

К 100-летию со дня рождения Гарифа Ахунова

140

Гариф (Гарифзян) Ахунзянович Ахунов (1925–2000) – Народный писатель Татарстана, видный государственный и общественный деятель. С 1974 по 1984 год возглавлял Союз писателей ТАССР. Секретарь правления Союза писателей РСФСР (1975–1985), СССР (1980–1985). Депутат Верховного Совета СССР (1974–1984). Почётный член АН РТ. Лауреат Государственной премии им. Г. Тукая и литературной премии им. Г. Исхаки. По роману о нефтяниках «Клад» снят одноимённый художественный фильм. Автор дилогии «Дочь Волги», повестей, рассказов, пьес, публицистики, переводов на татарский язык М. Шолохова, А. Макаренко и др.



Гариф Ахунов:

«Я уже ничего не боюсь...»

Говорят, что на таких, как он, земля держится...

С ним всегда было интересно. Отец был жизнелюбивым, весёлым, добрым, искренним человеком. Человеком слова. И дела: трудолюбие Гарифа Ахунова вошло в поговорку среди коллег-литераторов. И эти же качества он ценил в других. Всё это видно даже из этого короткого интервью, которое было мною взято у него в 1995 году...

Наиля Ахунова

блиц-интервью

Знаки зодиака: Дева, Вол.

Кредо: Во всём дойти до самой сути и добиваться совершенства.

Главный успех в жизни: семья.

Любимое занятие: писать книги и рисовать.

Любимый вид отдыха: работа в саду с женой Шаидой.

Любимый поэт: Габдулла Тукай.

Любимый писатель: Михаил Шолохов.

Любимый певец: Ильгам Шакиров.

Любимый актёр: Шаукат Биктимиров.

Любимые имена: имена моих близких.

Любимый цвет: белый.

Любимый цветок: ромашка – из полевых, герань – из домашних, роза – из садовых.

Любимое блюдо: картошка в любом виде.

Человек, вызывающий восхищение: Расул Гамзатов

Наиболее огорчительная черта в людях:

потребительское отношение к жизни, завистливость.

Черта, наиболее ценная в друзьях: искренность.

Наибольшее счастье: добиться признания своих книг, своего труда народом.

Что внушает наибольший страх: я уже ничего не боюсь, даже смерти.

Тариф Ахунов

ГДЕ-ТО ТАМ, за разлётом поля и толщей леса, высилась она, выстраивалась каменными домами, непонятно почему белолицая, толстостенная, — поднималась как мираж, в стеклянном мареве зноя. Впрочем, в разное время года менялось и освещение: белый камень серел, прикрывался листьями и ветошью, сумеречными облаками. Сочная синева неба обливала весенние влажные крыши. Зима блестела льдом на ребристых карнизах.

Электрическая лампочка завоёвывала пространство. Ещё и провода с телеграфными столбами были новинкой, ещё едва шепелявило радио. А она всегда была столицей, не древней старухой, а самой древностью, изборождённой морщинами: столица — значит, сто лиц. С зелёного пятка земли деревни её лик казался не множеством лиц, не улицами-площадями, но — крепостью, окружённой водой. Трудно передать видение, если оно тебя преследует, подрастает вместе с тобой, о чём все говорят, к чему возвращаются мыслями среди обыкновенных долин, и ты понимаешь: видение принадлежит всем без исключения, не одно твоё воображение преобразует даль. Столица присутствует в сердце каждого. И ты прислушиваешься, ловишь случайные слова о ней, тем самым оживляешь представимое, беседуешь совершенно безотчётно с будущим, которое за полем и лесом, за глубиью небес. Оно осуществимо, теплокровно, только надо



чуть-чуть поднапрячься, пересечь долину – и тогда... А что тогда, так ли уж важно знать, лучше – догадываться.

Впервые я приехал в Казань десятилетним мальчиком. Окончил тогда второй класс сельской школы и собрался в путь. Это – необычное путешествие, и готовился я к нему основательно. С утра до вечера одна бесконечная дума, одно опасение занимали меня: не заблужусь ли я там среди пересыпающихся над тропой огней? Дело в том, что моя старшая сестра Айша уже побывала в Казани у родственников, точнее сказать – погостила, и поделилась со мной кое-какими секретами. У неё их было полно.

– Ты мне скажи, Казань большая? Красивая? – тербил я её.

Айша маленько была артистка, с завихрениями. Её подтолкни – она и полетит, в любой момент готовая закружиться, расплеснуться, засмеяться.

– Ой, какая! – воскликнула она. – Там огни в воздухе висят!

– И не падают? – не унимался я.

– Висят, как шары. Ужас сколько их, со всех сторон огни, огни. И ни за что не цепляются. Кругленькие, яркие!

Это уж совсем было восхитительно.

– Плавают, значит? – уточнил я.

– Передвигаются, как гуси, – сказала убеждённо Айша. – Воздух там горячий. Они в нём сами подталкивают друг друга. Понимать надо!

– Понимать надо, ага! – повторил я про себя, – беспонятливый какой, на невидимых нитках держатся, и всё, кумекать пора бы, город всё-таки. Хоть сейчас в путь-дорогу, такое желание невозможно для терпения.

Теперь-то я гляжу на себя издали и вижу, как блестят глаза, как горят мои лопушки-уши, как подпрыгивает в груди сердце, – вижу и чувствую давнее неудержимое желание бежать-скакать-ехать. Поглядеть на белый свет так хотелось, пощупать свою мечту, как диковинную ветку с ворсистыми листьями.

Мечтать я начал рано, с шести лет. Отца схоронили, и я задумался: не по-

шагать ли мне куда глаза глядят. А отца убил ударом ножа нанятый кулаками бандит. Осталось нас у подола матери Бибинур четверо детей. Проживи-ка на тридцать рублей в месяц. Легче бы, наверное, умереть, но дышали мы жадно, – слава богу, воздуха хватало, потому и выжили. Налоги попросту душили: три центнера картошки – отдай, двадцать килограммов мяса – отдай, двести литров молока – отдай, шерсть – отдай... От этого «отдай» – ай! – звенит в ушах, жжёт-плачет. Для детской памяти многовато, пожалуй, а вот запомнил как проклятое заклинание: отдай! Страховка – добровольная, а заём – принудительный. Не хочешь, не живи, твоя воля.

Для коровы мы тащили сено со всех лужаек. Стыдно говорить, и овечье молоко забирали. Какие лыжи-коньки-санки?! С каких остатков? Отсюда и зависть палящая, отсюда и обида горькая к более удачливым сверстникам, с расписными санками возвращающимся с базара. Чем же мне-то похвалиться?..

Вот тут как раз и подфартило – в Казань! на летние каникулы! ох и замечательно! на тысячи висячих огней глянуть! Ну и повезло, ну и одарил Бог, услышал мечту мою, никому не рассказанную. В подкрепление вдруг пожаловал из Казани Фарид, мой двоюродный брат. Отец его Асат-абый, крестьянин-середняк, вовремя сообразил уехать из деревни, иначе отобрали бы у него и дом, и землю. Хотя и так взяли чуть позже. Асат-абый стремглав сбежал в город и устроился конюхом на алебастровый завод, подальше от греха. Ведь очень ему была памятна смерть моего отца: семечко от семечка близко падает.

Фарид появился в самый раз к поспевшей малине. Насобирали мы её скоренько целых два ведра: не с пустыми же руками ехать в гости – лучше с полными ведрами и с витающей в облаках душой! Никаких огней поначалу я не увидел. С головой ушли в дело. Город, оказалось, тоже не сливки пьёт.

Подбирали уголь, оставшийся после обжиги извести. О малине быстро позабыли. С разгону я наловчился грести и подхватывать: туда-сюда, туда-сюда. Не согнулся, не ойкнул. Нагрузили тачку и свезли на базар слободы Бишбалта. Посчитали денежки. На свою долю я купил игрушечный барабан. Надо бы чего понужнее – сандалии, к примеру, тапочки, на худой случай, ботинки, вроде бы покрасивше и потвёрже. Но в деревне барабану удивятся больше. Как забарабаню, сразу станет видно, кто из Казани приехал. Пусть и босиком, зато при музыке.

Один усмешливый остряк ещё в поезде посмотрел на мои покрытые цыпками ноги и расплылся, как блин по сковороде, такой вредный-вредный:

– Э-э, браток, неважные-то твои дела. Поржавел. В Казани тебе ноги-то укоротят, бесполезно их чистить. Готовься!

Ботинки справить, ясное дело, – красота! Но душа не устояла перед барабаном. И – ладно, жизнь впереди бесконечная, невообразимая, подошв на неё сызмала не напасёшься. У меня было правило: решил – действуй и не оглядывайся на остряков-балагуров, они вечно в замызганных сапожищах.

Фарид одобрил мой чрезвычайный поступок:

– Без башмаков проживём с барабанным боем!

Мы отправились к берегу Волги: Учия, так называлось это место – Устье.

Тут я и ахнул – на меня выплыл пароход. Отродясь такого не испытывал! Белый, вздыхающий, он причаливал к горбатой пристани, как большая корова, мычал и вздрагивал, хлопал почём зря крылатым колесом по воде. А посередке реки шла тёмная, покорная баржа за плюгавым буксирчиком, тихая, крадущаяся, увешанная бельём на верёвках, как самый настоящий дом на волнах. Кричали, нет, тонко повизгивали чайки. Вода гладко бросалась на берег и шипела. Над всем этим огромным хозяйством переговаривались гудки и

гудочки. Суета на берегу была какой-то праздничной, люди как будто показывали друг дружке зубы: погляди, зубы мои могут и проволоку перекусить, я всегда весёлый и ни на что не жалуясь! Бочки, канаты, тросы, брёвна, прогибающиеся доски, – всё это двигалось, смещалось, звучало голосом, скрежетом, пересвистом... Потом всем этим разноголосьем наполнятся мои книги, в них войдут и птицы с густыми крыльями, и ржавые цепи лодок, и нескончаемый гомон-перекличка, и снующие люди в неописуемых одеждах – грузчики, рыбаки, ротозеи. Подброшенная охапкой вся живописная картина берега! Жарко дышащая волна побережья бежит перед глазами – и как поместилась! – текущая взблескивающая, как битое стекло, одушевлённая могучим горловым голосом, широкогрудая, с крепким запахом, принадлежащим только Волге, её крутому замесу жизни... И рядышком я со своим красующимся цветным лаком барабаном! Поразила меня вереница корзин на коромыслах, точно зависшая на сходнях – тяжелеющая на глазах череда хлопочущих, раскрыливших руки, женщин, издающих странные звуки гусынь. Они плыли и плыли, выплывали, возникали из трюма, переваливались на сходни семенящими шажками, – их принимал берег, но они, не ломая цепочки, продвигались дальше вглубь, обтекая ряды бочек, в безостановочном движении сохранить целенькими корзины до трамвайной остановки, а там уж отдышаться, успокоиться.

– Корзин-то! Коленки подгибаются. Куда столько?

– На базар, – сказал Фарид. – Помидоры, огурцы, яблоки, ягоды. Ешь – не хочу! И цыплят везут, и несущек с яйцами. Оглохнешь!

– Откуда везут?

– Деревень по реке не пересчитаешь. Ле-е-ето! – пропел Фарид. – Теперь каждый день – лето. Складывая в корзины и тащи. Бабам всегда тяжело, – по-взрослому сказал Фарид. – По Волге больше русских. Опустошат корзины и

опять на пароход. Часа за два управятся и отдохнут заодно.

– Продадут?

– Чего же ещё. Не зыркать же по сторонам. От вишни разве откажешься?

– Я бы таз съел!

– Значит, корзину.

– Вдвоём бы и с ней сладили.

Мы стояли у самой кромки воды с красивым барабаном, счастливые, голодные, босые, надышавшиеся свежим ветром, который у Волги необычайно пахнет рыбой. Я сжимал в кулаке палочки, запасные были спрятаны под ремнём. Я прочитал про великую реку множество книг, но в грудь мою, в глаза мои, в уши мои она входила в первый раз. Так вот ты какая, матушка-река! От берега до берега глазом пройдёшь, как посуху, а руками ослабеешь, еслиставишь себе, как пересилить её волну заносчивыми сажёнками.

Много я успел прочитать – и про чаек, живущих между небом и рекой, и про ласточек-береговушек, не уносимых ветром от обрыва, и про клады зарытые – поди отыщи их! – и про Каспий, к которому тянется через тысячелетия эта голубая жила, и про бурлаков, бредущих с песней-стоном. Читал, но не видел её в работе.

С четвёртого класса я уже писал стихи, составляя слова лесенкой. Рисовал акварельными красками родную деревню Кечкене Училе с её взбалмошными собаками, злыми гусаками, вытягивающими шеи, чтобы ущипнуть клювом за штаны. Рисовал всё подряд, что подхватывал взглядом, и волновался при этом необыкновенно – зимой и летом, на весенних проталинах и под осенними листьями. Снежные бабы на моих листьях не таяли, собаки навечно оставались с задранными хвостами. Я привык помаленьку опережать время... Но вот к удивительно маленькой, всего-то в чёртову дюжину домов, деревеньке Кечкене Училе (крошечной Училе) подошла близко, будто приобняла рукой, огромная, из камня и дерева, Казань, задребезжала красным трамваем, под-

катилась волжской волной к ногам, аукнула по лесам-долам бархатистым басом парохода, повела по длинному ряду магазинов, где столько замечательных вещей, для каждого пришельца хватит обуться-одеться, позабавиться, – чего один барабан стоит, разрисованный такой краской, что её лизнуть хочется... Вот какой ураган пронёсся перед моим зачарованным взором, подхватил, подбросил меня на ладонке вихрем так, что я зажмурился...

– Пора возвращаться, Гарифзян! – Кто это сказал? Ах да, Фарид! – Отец рассердится: где шлялись, бездельники?!

Вот и вечер наступил. Солнце на Маркиз-остров садится. Коней с лугов пригонять надо. И когда день успел остыть?

– Подожди малость, – попросил я.

– Ты что! – вскинулся Фарид, глаза его стали круглыми. – С голодухи живот провалился. Везде тебе надо сунуть свой нос. У меня уже ноги отваливаются. Ещё насмотришься, успеешь.

Тогда и я почувствовал, что под ремешком пустота. Напрямую, ускоряя шаг, между Устьем и алебастровым заводом, мы вышли на луг к пасущимся лошадям. Я их насчитал штук двадцать – обычных, ничем не отличавшихся от деревенских, лошадок, и городских – ломовиков...

– Зачем заводу лошади? – спросил я Фариду.

– Известь возить, – сказал он просто, будто отмахнулся от мухи. Всего на год старше, а то-то же, зазнаётся, вот дела – городской. Пришлось побегать, погикать, пока не загнали лошадей в конюшни при заводе. От них шёл сытный пар. Лёгонький барабан мало-помалу натер шею.

Брат отца, Асат-абый, тут был хозяином при копытах. Он раскладывал по кормушкам мягкое сено, не торопился, был немногословен... Если задуматься, у него в деревне был светлый дом из смолистого соснового дерева, с резьбой, с просторным двором, где поме-

щались и лошади, и коровы, каждая побольше телеги, а уж кур-гусей сразу и не заметишь, мелькают по углам, и пускай. При дворе хозяйюшка-жена, ловкая, быстрая, опрятная, всегда при белом платке. Как ни посмотришь, все домашние чем-то заняты. И это хозяйство одним махом разграбила деревенская беднота: дескать, кулак – и поделом тебе. Наиболее сноровистый старший сын Габдулла, почуяв неладное, первым сорвался в Казань и прилепился к пекарне. Потом, застолбив место, перевёз к себе целиком куст семьи до малого корешка. Дети оказались упорными, цепкими: Сарвар устроилась на скотобойню, средний сын приторговывал из-под полы. Не голодали больно, не нищенствовали. На всех хватало то коровьей головы, то потрохов, то свеженького каравая с мельничный жернов. Нужда сплывала, а не отталкивала друг от дружки – за столом было тепло, сытно. И для деревенских гостей находилась постель...

Тем и распахивалась передо мной Казань: то Волгой, то семейным ладом. С одной стороны – гляди на белый пароход, оплёскивайся незатахющим шумом-гулом пристаней, с другой – восхищайся спокойным лицом семьи, ровным её дыханием. Не отбросила громадная столица обиженных детей, дала приют, обогрела, защитила стенами. Я слышал, как вечерами люди нашей деревни, что постарше, пели:

**Город Казань – каменный город.
Голова городов.
После отца сильный сын
подрастает в работе...**

Мне так и казалось, что это поётся о нашей семье и дорогом родственнике Асат-абые... Асат-абый лет через пять умер, но дети уже были закреплены на земле, а не раскиданы по свету. Прижились в слободах, построили свои дома.

Но мне ещё предстояло, только предстояло совершить настоящий свой путь по Казани, приобрести походку. Пока же я лишь наведалься, стал её го-

стем. И всё-таки первое воспоминание-причащение самое драгоценное.

На другой день Фарид обещал показать мне город. Почистили себя, как могли, и двинулись. А перед этим Минзифа-джинги заговорщицки подманила нас пальчиком и сказала певуче, с расстановочкой:

– Вот тебе три рубля, раз! Вот тебе три рубля, два!

Прямо-таки песня сложилась, потому и запомнилась на долгую жизнь. Почаще бы слышать ласковое напутствие. А потом добавила:

– За вкусные сладкие ягоды, которые вы собрали в нашем училинском лесу. Таких ягод нигде больше нет, на языке такют.

Всю дорогу щекотали ухо её слова, никуда не уходили. Сели мы в трамвай №1, покатили на колхозный базар: шёл трамвай от Устья до вокзала. У алебастрового завода люди «голосовали» и трамвай со звонком останавливался. Это был какой-то торжественный ритуал – приглашение к путешествию, уважительный поклон рабочему человеку.

Остановка «До востребования», – сообщил мне Фарид. – Зря ты барабан оставил дома, постучал бы палочками.

Я понял происшествие так: везде, стоит только поднять руку, всплеснуть ладошкой – и трамвай обязательно плавно прекратит свой разбег.

И вот мы на рынке, как раз среди тех бесконечных корзин, которые «всплывали» из трюма парохода под крыльями рук, прикрытые тряпицами. Теперь они были открыты. Фарид купил два крупных красных яблока, душистых, блестящих на солнце жожией. Если в наш дом попадало яблоко, мать резала его на кусочки и раскладывала по чашкам. А тут мне одному яблоко в два кулака – не жалей зубов, Гарифзян!

Я рассмеялся.

Базар был праздником, скороговоркой, гостинцем. Насладившись зрелищем – топ-топ, топ-топ! – мы вышли на улицу Баумана.

Где мы только не побывали! По-

хозяйски обошли магазины, посмотрели в кинотеатре «Унион» какой-то фильм. Я и прежде раза два смотрел кинокартины, но здесь всё было по-другому – чистенько и аккуратно, никто не крутил ручку аппарата, да и лента не обрывалась. Зрители сидели примолкшие, сразу было ясно, какие в городе воспитанные люди.

Впечатления, нагрудившись, распирали меня: я всех-всех любил, сердце моё увеличилось, щёки горели, в голове стоял звон. Пока мы поднимались в гору, я говорил, говорил, говорил как заведённый, а наверху даже задохнулся и беспомощно-тихо хватал воздух ртом, словно по кусочку откусывал от неба.

Далеко-далеко за крышами виднелась Волга.

Подошли к белым колоннам.

– Это – университет, – сказал Фарид. – Здесь учатся тысячи студентов. И как они там помещаются? Но толкаться здесь нельзя.

Я ему поверил. Ведь всего одна девушка из казанбашской школы «протиснулась» в химико-технологический институт. Весь Казанбаш переволновался из-за этого грандиозного события, целую зиму под печными дымами, заваленный по уши снегом, обсуждал-рядил, как такое случилось.

Не помню, где мы ещё плутали: голова человека – дырявый мешок, чтобы получить новое – теряет старое, сбережённое только до поры. Конечно, больно ценным не кидается направо-налево, но протухнуть «товару» не даёт.

Перемигнулся я с повисшими в воздухе огнями за трамвайной линией – город как будто подбросил их, а поймать забыл – забрал свой роскошный барабан, связал бечёвкой палочки, попрощался с родственниками и рано утречком поехал па вокзал, предвкушая встречу в Кечкене Училе. Я уже тогда понимал, что от встречи к встрече складывается жизнь, точно так же, как кирпич к кирпичу растёт печь. Ах, с каким барабаном я возвращался в деревню!..

Через два года я снова заступил на непотускневшие следы проторённой тропки. На сей раз я сам был поводотропом. А произошло это так. В деревне Казанка, совсем поблизости от нас, у истока речки Казанки, жила сестра моего отца Малика-апа. Что её отличало от других? Она была подвижная, как веретено, сколько сухая, столько же скупая – пообещает сто раз, но ни разу не одарит безделицей. Детское сердце тут и трепыхнётся, а взрослому – пустяк. Так скупилась-то она, наверное, оттого, что вся сила её ушла в бицепсы: вот какая я сильная, об обещанном помнить не хочу! – стучала мысль, на мужичий колхоз одна бабья управа! Двадцать лет с ней никто не мог сладить на колхозных соревнованиях. Поглядят на её мускулы и тут же сдаются: жилы да яблоки вздувались под её кожей. Через это она и забывчивая на всякие обещалки, прохудилась память. Убей не вспомнит дороги в Казань, по которой бегала-перебегала к брату своему, Асату. Все ручки из головы утекли в мышцы. Ну, и упросила мою мать отпустить меня в Казань как сопровождающего. А у меня глаз что алмаз: один раз был в городе, а каждый поворот запомнил накрепко. Я Малику-апа не то чтобы довёз, а быстренько довёл до знакомых ворот по трамвайной линии. «Красный дилижанс» не ходил, вот какая штука! Показал я рукой на завод «Известь-алебастр»: пожалуйста! Махнул другой – и ворота на виду! Малика-апа, конечно, ах-ах, сама, мол, догадывалась, с паутиной сомнений боролась... В городе у неё были дела важнейшие, и потому везла она десять фунтов масла и ведро яиц. Я помог ей спровориться с грузом, за что она пообещала, не знаю в который раз, напоить меня «красной водичкой» – морсом. И ведь опять не исполнила своего слова! Я уж и рот вытирал старательно, чтобы она приметила, за чаем. Намекал, так сказать. Впустую! Ох, я и обиделся, с ходу губу прикусил от досады, чтобы не крикнуть: выполняй, и точка! Стыдился я просить у людей, а тем бо-

лее покрикивать на таких беспросветно забывчивых... О другом я, о другом. Малика-апа только присказка.

К тому времени я прочитал «Неотосланные письма» Аделя Кутуя, «Сплав» Гумера Баширова, «Агидель» Мирсая Амира, пьесы Тази Гиззата. Увидеть бы кого-нибудь из них, писателей, людей совершенно особенных – ух, здорово было бы! Неперебываемо сильным было желание глянуть хоть краешком глаза на Мирсая Амира. Судьба его героев пересеклась с моей судьбой, пусть пока ещё не до конца осознанной, однако главная косточка уже хрустнула. Я плакал, не спеша переворачивая страницы. Не все слёзы вытекают, горчайшие остаются под веками. Уж я бы нашёл, что сказать писателю, уж я поведал бы ему о сокровенном, о чём и ночью-то проговаривал шёпотом, прожигая глазами мрак – молился ли я, давился ли вздохом, кому знать об этом.

А тут вдруг старшеклассник Рамазан Салихов, круглый пятёрышник, притянул меня к выпуску стенгазеты. И откуда прознал о тайных муках – и стишки-то я пописываю, над рассказами задумываюсь, к тому же красками маляю что-то неописуемое... Словом, клад, находка, не находящая применения, сирота училинская, которой по окончании четверти то кепку подарят, то рубашку, то акварельные краски с цветными карандашами – мажься на здоровье! Однажды встретились на улице в деревне Кетек, где жил Рамазан, – он пригласил меня в дом, посидим, мол, за чайком, потолкуем... Он тоже без отца, четверо детей при матери. Нет, пятеро – три девочки, два мальчика. А дома нищета с бедой на лавке. Зато на стене самосколоченная полка с книгами и портреты писателей – Тукай, Такташ. Ещё один с носом-клювом, как у синицы, с маленькими глазками. Так и просверливает насквозь, так и просверливает.

– Этот на птицу похож, – сказал я. – Кто такой?

– Поэт Шайхи Маннур. Я с ним встречался в городе, как с тобой в Ке-

теке. Говорю: «Вы поэт?» Он удивился: «Откуда тебе это известно?» Я ему отвечаю, не моргнув: «Я ваш портрет три раза рисовал!» Повёл он меня в книжный магазин, подарил свою книгу. Потолковали мы с ним запросто. Из каких я мест, зачем приехал. Я малость вспотел, но ничего, не ударил лицом в грязь перед орденоносным поэтом, – рассказывал Рамазан. – Он из длинного мундштука курил, долго курил. Пока дымил, разговаривали. – В Казани поэты по главной улице ходят с утра до вечера.

– Ходят, ходят, а когда пишут? – изумился я.

– Ночью! – твёрдо сказал Рамазан. – Вдохновение у них по ночам.

– Мне бы Мирсая Амира повидать, – размышлял я.

И что же вы думаете?! Доставил я Малику-апа с маслом и яйцами к брату, и тут выясняется, не надо мне искать-рыскать на главной улице. Здесь он скоро появится, под этой самой крышей, где пригрелся в уголке я. Он муж дочери Асата-абый Сарнар – Мирзаянов Амир! Разве мог я додуматься, что яблоки с неба скатываются. Трогательная у нас вышла беседа.

– Вы Мирсай-абый Амир? – захлебнулся я.

– А ты что же, не спишь, не ешь, а тоже хочешь стать писателем?

– Получилось бы, – сказал я скромно.

– Тогда трудись, сынок.

Пошли и мы в книжный магазин. Штук пять подаренных книг я привёз в Учили с сильно забившимся сердцем. Неужто мог я, распалившийся, знать, что и шайтан иногда усмехается жалостью, шутит... Седой человек не был писателем, но он был мудрецом, поддерживающим огонь перед наступающими холодами. Мальчишка! Где мне было присматриваться да прислушиваться! Я бы в один момент понял – передо мной сидит, не пряча тёмных рабочих рук, крестьянин-землепашец-скотовод, кто угодно, а прежде всего – спокой-

ный, добрый человек Мирзаянов Амир. Он глядел в потрескавшееся зеркало моей души, тайно любясь моим невозможным желанием, наслаждаясь жаром детского порыва. И... чуть-чуть слукавил, подправил фитилёк, чтобы выпрямить пламя...

А с подлинным Мирсаем Амиром я познакомился, когда стал студентом Казанского университета. Много позже моя жена подарила писателю гладиолусы – принял их в руки, окунулся лицом в соцветия и сказал:

– Шагида, с цветами человек не помнит о старости. Дай мне, пожалуйста, ещё несколько штучек для жены. И ей будет радость. Как хорошо умеют люди улыбаться! Пожалуй, улыбка, как всплывающая из глубины рыба, освещает озеро жизни...

Торопится моё перо опередить время. Сколько событий проносится перед моим взором, обжигая веки. Серые осенние эшелоны. Лица, лица, лица. Их заносит жёстким снегом, поглощает, покрывает холодом забвенья. Но вихри и смерчи сходят клубами, рассеиваются, расшибаются вдребезги, оставляя бугры могил, руины, печные остовы на месте домов, скелеты церквей, мечетей, потоки людей-беженцев повергаются в прах. Человеческое море волнуется постоянно. Редко тишь да гладь охватывают простор, улаживают слух и зрение. На то и жизнь, на то и жизнь! – звучит рефреном... Я умышленно миную череду оврагов, омутов. О каждом надо отдельно, обстоятельно, по канве опалённой жизни. Но я словно неожиданно оказался на спине скакуна – и понеслось, замелькало. Я хочу осмыслить, как стал казанцем, как разомкнулось для меня кольцо города, впустило и откинуло, приветило и омрачило. Нет, душа не знала чёрного омрачения, она рвалась куда-то за пределы через горести и печали. И я выстраиваю лишь тонкую, легко разрываемую цепочку на поверхностный взгляд малозначительных приключений мальчика-подростка-мужчины. Ибо здесь лежат глубинные концы

узлов, в замкнутом клубке, казалось бы, нерасторжимом. И они видны мне, эти концы, за гибкими переплетениями, перехлёстами. Тесно увязаны жизненные тропы, не оборвёшь опрометчиво. От повисших в воздухе огней, от незамысловатого счастья быть обладателем барабана с гладкими круглыми палочками, от раскатанной по земле тяжёлой воды Волги – я выхожу, возвращаюсь непременно к полю, лугам. От белых стен кремля и красного многоярусного силуэта башни Сююмбеки мой взгляд притягивает тихо убегающее к горизонту раздолье.

Тяжесть жизни ощущает сидящий, идущий же – обретает лёгкость, распрямляя тело. Он несёт на себе луч солнца, как вестник. Да, была нужда, было лихолетье, много нужды, горы лихолетья, буреломы, завалы, отчаянье. Скажи: пройди снова! А ну-ка, попробуй!.. Искренне отвечу – покажется, не осилю, да и невозможно осилить, не стожилен человек. А по правде-то говоря, хотелось бы окунуться с головой в невероятное. Не повторить, а – возвратиться. Прежняя, бывшая сила потрачена без сожаления, потому и приметен где-нибудь на свободном предзимнем берегу вывороченный, вздыбленный корнями кряж...

Поспевая к молодости, мы – тридцать три студента – заканчивали арское педучилище. Жили в колхозных бараках совхоза «Урняк». Шёл сорок седьмой, трудный, послевоенный год. Освободилось помещение госпиталя для немецких военнопленных – переехали туда, в Арск. Ели мёрзлую картошку, несколько капустных листов плавало в супе. Хлеб прилипал к пальцам. Деньги были дешевле нынешних. Пятидесятиграммовый кусок волжской рыбы стоил на станции восемьдесят рублей. Нас готовили учителями для начальных сельских школ. Сухопарые, звонкие, мы не имели того, что мешало бы в пути. Лишний вес нам был противопоказан. Джигит держится за воздух, так смеялись мы, принимая дипломы. Куда

податься дальше? В университет? Но прежде надо было написать хотя бы на тройку изложение по-русски. Из 33 студентов шесть получили двойки. Это произошло до получения диплома. На этом фоне Яхья Халитов и я выглядели молодцами-ударниками, и, слегка посомневавшись в выборе – пединститут, художлище? – в окончательный срок ступили на мраморные ступени университета...

Студенческие годы – лучшие годы, принято говорить. Но розовым бочком время не торопилось к нам поворачиваться. Куда спешит путник, знает дорога. Изворотливым я был, а иначе – плюнь да утрись. Выписывал на картине гибкошеих лебедей, озёра с камышами. «Творения» продавал на базаре. Летом возвращался в Арск и трудился маляром, чтобы и самому приодеться и помочь матери, работавшей за «дырявые сотки». С четырнадцати лет обеспечивая себя сам – вот он, мой

путь в Казань. Пахал, сеял, художничал. И – постигал.

Мировая, ни меньше ни больше, литература открывала передо мной свои кованые сундуки. А своя, родная, терпела бедствие. Нас обрубали, отёсывали, и это становилось нормой – укоротить со всех сторон. Да, живучесть была такой силой, которая вышибала любые пробки.

С того давнего дня, с моего первого подарка большого города деревенскому мальчику – барабана, я, теперь уже казанец, берегу в душе хрупкие палочки. Ах, как он звучал, мой барабан, в зелёном Училе. И посейчас я слышу дробный бой на краю поля. И в минуты-часы угнетённого настроения я беру за руку десятилетнего барабанщика, и мы совершаем спасительную прогулку по казанским избегающим улицам. Жизнь, потерявшая было звуки и краски, вновь обретает чистый тон и акварельные цвета.

*Перевел с татарского
Рустем Кутуй*

